|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Воспоминание и историзация: трансформация индивидуальной и коллективной травмы и ее межпоколенческая передача** | |  | | --- | |  | |

|  |
| --- |
| Год издания и номер журнала: 2010, №4  Автор: [Болебер В.](http://psyjournal.ru/psyjournal/authors/detail.php?ID=2173)  Комментарий: Данный доклад был представлен на Российско-Немецкой конференции «Травма прошлого в России и Германии: психологические последствия и возможности психотерапии», состоявшейся 27-29 мая 2010 г.  Перевод: О. Асписова  Редакция: К. Солоед |

**I. Введение**

Коллективные катастрофы, такие как Холокост, Вторая мировая война, а также репрессии и этническое насилие, помогают осознать, что политические и социальные катастрофы, так называемые man-made disasters, т.е. антропогенные катастрофы, настолько сильно сотрясают общество, что даже поколения спустя мы вынуждены иметь дело с их травматическими последствиями. Наряду с этим они создают целый  ряд особых проблем идентификации и межпоколенческих конфликтов как у жертв, так и у палачей.  Кульминацией национал-социалистской завоевательной политики уничтожения стал  Холокост, а затем – Вторая мировая война. Выжившие жертвы Холокоста и жители стран, подвергшихся нападению и оккупации, испытали тяжелую травматизацию, с которой продолжали жить. Но и люди, относившиеся к нации палачей, тоже пережили травмы: солдаты, участвовавшие в военных действиях на фронте, и гражданское население, которому пришлось вынести бомбардировки, бегство и насильственные депортации. Кроме того, на коллективную травму со временем наложилось переживание коллективной вины и ответственности, что присутствует в Германии в неструктурированном виде. Характерная для этой страны динамика воспоминания и защитных механизмов сформировала общественно-коллективную реальность нескольких поколений. Травматическое переживание, вина, стыд и наследие национал-социалистской идеологии образовали сложное переплетение, воздействие которого не ограничилось одним только первым поколением, но и перешло на поколение следующее. Так, потомки сделались «контейнером» для непроработанного страдания и травматизаций, непризнанной вины и ответственности их родителей, а также все еще остающихся элементов национал-социалистческой идеологии. Представители второго поколения, родившиеся до или во время войны, в детстве сами были втянуты в катастрофические события, и, в свою очередь,  тоже пережили душевные и физические увечья и травматизацию. Между поколениями образовалась особая нарциссическая фиксация. Нарциссическая – потому что речь шла не только и не столько о взрослении и самостоятельном формировании личностей и идентификаций детей, сколько о том, чтобы функционализировать их для психически не переработанной истории поколения родителей.

Далее я хотел бы описать структуру и динамику травматического опыта, а также их влияние на способность к воспоминанию. В этой связи  я  исследую специфические межпоколенческие связи, возникающие в результате продолжающегося воздействия тяжелой травматизации.

**II. Травма и повествование**

Сначала я хотел бы обратиться к травматическому опыту, его переработке и описанию. Сделаю краткое обобщение самого важного. Травматическая реальность[1)](http://psyjournal.ru/psyjournal/articles/detail.php?ID=2602&sphrase_id=130646" \l "_ftn1) разрушает защиты  Я и его адаптивные ресурсы, всегда приводит к беспомощности, автоматическому страху и регрессии к архаическим функциям Я. Страх пробивает оборонительный щит души, организм захлестывает такое количество возбуждений, с которым невозможно справиться, в результате Я впадает в состояние полной беспомощности. Случайный чудовищный факт врывается в жизнь человека. Биологическая реакция борьбы/бегства блокирована, человек оказывается во власти травматического состояния, которое обостряется по мере его продолжительности (Krystal, 1988). Потрясенное беспомощное Я перестает бороться, боль и переполненность эмоциями больше не ощущаются им, наступает психический паралич с прогрессирующей блокадой ментальных функций. В этом кроется и причина проявляющихся позднее психогенных амнезий. Рассмотрим же с точки зрения психоаналитической теории объектных отношений несколько подробнее процессы, происходящие при травматизации. Коммуникативная диада самости и ее хороших внутренних объектов разрушается. Хорошие объекты больше не могут обеспечить внутреннюю защиту и безопасность. Как следствие возникает переживание абсолютного внутреннего одиночества и крайней безутешности. Тем самым нарушается и способность рассказывать о ключевом опыте травмы. Травма имеет тенденцию снова оживать во время так называемых вспышек памяти (flashbacks), повторяться в кошмарах и симптомах. Повторение носит характер неосознанного и внезапного проникновения, но в то же время представляет собой и попытку Я справиться с непостижимым и побороть его. Травматизированный человек пытается задним числом приручить травму как таковую и смягчить ее, давая ей имя и встраивая в доступную для понимания систему имеющих причину действий. Парадоксально, что травма, собственно, является привнесенной и чужой, но пока она остается чужой, она оживает вновь, вторгаясь во внезапных прорывах повторений, и осознать ее оказывается невозможным. Но поскольку человек как таковой не может жить без объяснений, он стремится придать своей травме индивидуальный смысл и для этого историзирует ее. Позднейшая историзация часто представляет собой маскирующие воспоминания. Если удается распознать их как таковые и реконструировать аутентичную историю, то снова открывается связанная прежде в круговых повторениях временность, и будущее, настоящее и прошлое снова вступают друг с другом во взаимосвязь (Baranger et al., 1988).

Так называемые антропогенные катастрофы (man made disasters) нацелены на аннигиляцию историко-социального существования человека. Поэтому отдельному человеку и не удается включить травматический опыт в повествование более высокого уровня, для этого необходим общественный дискурс об исторической правде травматизирующего события, о его отрицании и защитных механизмах. Только признание причиненной травмы и вины восстанавливает межчеловеческий порядок и тем самым – возможность соответствующего понимания травмы. Только благодаря этому снова может быть регенерировано потрясенное самосознание и осознание мира. Если в обществе по большей части принято прибегать к защитным механизмам, то жертвы часто чувствуют, что перенесенный опыт отдаляет их от остальных, они исключены из круга внимания, что, в свою очередь, снова разрушает их уверенность в себе, подвергает повторной травматизации или обрекает на молчание, потому что они не могут рассчитывать на понимание.

Травмированные люди – это не только жертвы деструктивной политической реальности, но и одновременно ее свидетели. Однако они часто попадают в ситуацию, когда мало кто готов выслушать их свидетельство, потому что слушатели не хотят отягощать себя чувствами страха и боли, ярости и стыда или же боятся обвинений. При этом вступают в действие различные процессы защиты. Фридхельм Боль показал на примере интервью с пережившими Холокост и жертвами политических репрессий национал-социализма и сталинизма, что свое отношение к травматизированным персонам и их молчание слишком легко объяснить невозможностью выразить случившееся словами, а это по большей части есть не что иное, как рационализированное оправдание (Boll, 2001). Область того, о чем можно говорить, всегда зависит от общественных ограничений, толкований и табуирования. Существует невыразимое, непереносимое и в своей бессмысленности разрушительное страдание, и травмированный человек не хочет снова пережить экстремальный стресс, рассказывая об этом. Невыразимым оно может быть еще и потому, что травматическое переживание и воспоминание не должны быть втиснуты в структуру рассказа, которая может исказить самую суть пережитого опыта.

Травма – это factum brutum[2)](http://psyjournal.ru/psyjournal/articles/detail.php?ID=2602&sphrase_id=130646" \l "_ftn2). В момент переживания она не может быть интегрирована в контекст значений, напротив, она его разрывает. Но пробитой оказывается также и социальная ткань, в которую тесно вплетено психическое. Репрезентации, социально передаваемое доверие, легитимации и идеалы – все это так или иначе сводится к нулю (Davoine & Gaudillière, 2004). Все это создает особые условия для воспоминаний о травме и ее последующей интеграции.

**III. Проблема правдивости (истинности) травматических  воспоминаний**

Благодаря исследованиям нейронаук стало известно, что старая накопительная модель памяти устарела. Воспоминания не откладываются в определенном участке мозга, чтобы при необходимости их можно было легко извлечь. Сегодня нейробиологи объясняют человеческий опыт как усиление нейронных связей внутри одного профиля нейронной сети. Таким образом, воспоминание – это возникновение с некоторой вероятностью в сходной ситуации той картины возбуждения, которая наблюдалась при первоначальном опыте. Итак, есть только некоторая вероятность, что нейроны «выстрелят» в определенном порядке – а не воссоздадут сам предмет воспоминания (Siegel, 2006). Исследователь сознания Даниэль Шактер формулирует то же положение на языке других моделей, исходя из наличия «следов памяти»: «Мы отфильтровываем из своих воспоминаний только ключевые элементы и сохраняем только их. Затем мы создаем наши воспоминания заново или реконструируем их, вместо того, чтобы просто вызвать из памяти копии. В процессе реконструкции порой всплывают чувства, убеждения или информация, которые были обретены нами уже после пережитого события. Другими словами, мы искажаем наши воспоминания о прошлом, добавляя те эмоции и информацию, которые стали нашими лишь впоследствии» (Schacter, 2001, 21). На основании этих нейробиологических и когнитивных исследований некоторые делают вывод, что вопрос об истинности связи прошлых событий и воспоминаний о них сделался нерелевантным. Они воспринимают воспоминания как нарративные (повествовательные) конструкции, в которых благодаря забыванию возникают пробелы, которые заполняются нарративно (при помощи рассказа) и порождают смысл, соответствующий актуальной ситуации Я. При таком понимании различие между воспоминанием и интерпретацией грозит почти полностью сгладиться. Этому способствуют и сами представители нейронаук, например, когда они формулируют следующее: «Воспоминания – это изобретения, опирающиеся на данные» (Singer, цит. по: Assmann, 2006). При такой аргументации трудно отделаться от впечатления, что память следует едва ли не обвинить в ненадежности и неточности. Так, Вельцер и Маркович, например, пишут: «То, что свидетельства очевидцев часто имеют весьма слабую связь с историческими событиями, о которых они якобы свидетельствуют, легко объяснить с точки зрения нейронаук: ложные воспоминания субъективно ощущаются точно так же, как истинные, и похожим образом перерабатываются. Это имеет фундаментальное значение для того, что в социальных науках следует понимать под “биографическим интервью”: явно не то, что отражает действительность в прошлом, а то, что в любом случае является сегодняшней точкой зрения на нечто, что кажется кому-то пережитым им» (Welzer & Markowitsch, 2006, 15). Такое отношение к памяти и воспоминанию имеет тяжелейшие последствия для исследований о передаче национал-социализма и Холокоста в памяти семьи. Вельцер уже больше не ставит вопроса об истинности рассказанного, и в результате своих исследований делает вывод о том, что обращение к прошлому служит потребностям формирования современной идентификации (Welzer et al. 2002; Welzer, 2007).

Утверждение, будто бы истинные воспоминания были переработаны так же, как ложные, не соответствует нынешнему уровню научных исследований. И в самом деле, верным является то, что на воспоминания может стойко повлиять внушенная ложная информация, как продемонстрировала в первую очередь в своих работах Элизабет Лофтус (Loftus, 1994). Однако другие исследования внушаемости дают сильные аргументы в пользу того, что воспоминания о реальных событиях отличаются от внушенных более разнообразными и детальными образами-представлениями (Schacter, 2001).

Для нашей темы особенно интересны те исследования, которые показывают, что точность воспоминания часто прямо связана с эмоциональным возбуждением. Решающими детерминантами являются эмоциональная интенсивность, значение для личности, а также момент внезапности и тяжесть последствий события. Пережитые события с такими характеристиками могут вспоминаться спустя долгое время с высокой точностью и очень детально. При этом центральную роль играет интенсивное зрительное представление. Значительно в большей степени эти факторы воздействуют на регистрацию травматических переживаний. Однако взаимосвязи между событием и воспоминанием здесь еще более сложные, чем при эмоциональных переживаниях нетравматического свойства. В дискуссии на эту тему мнения также разделились. Одна группа аргументов подтверждает, что травматические воспоминания, как правило, поначалу не поддаются когерентному припоминанию. Событие представлено в имплицитной памяти, поэтому эксплицитные воспоминания временно отсутствуют, как, например, при психогенной амнезии. Ее наличие считается признаком травматического опыта. Результаты эмпирических исследований[3)](http://psyjournal.ru/psyjournal/articles/detail.php?ID=2602&sphrase_id=130646" \l "_ftn3) в значительной степени расходятся с такими аргументами. Они скорее доказывают, что воспоминания о вызвавших сильнейший стресс травматических событиях по преимуществу очень детальны, весьма константны и, насколько можно судить, также относительно надежны. Впрочем, и здесь, как и при других воспоминаниях, могут возникнуть заблуждения, а с течением времени начаться процессы забывания. С нейробиологической точки зрения при событиях, обладающих большой интенсивностью аффектов, прежде осознанного восприятия на подкорковом уровне происходит эмоциональная оценка входящих раздражений. Активизация амигдалы ведет к улучшению результатов воспоминаний. Сильное, интенсивное возбуждение (arousal) усиливает припоминание важнейших деталей события. Ядро события и переживания сохраняются лучше, а детали, не связанные с сутью события, – хуже. Решающим фактором оказывается при этом Я, которое должно быть способно сохранить во время травматического события по меньшей мере свою функцию наблюдателя. При крайней травматизации может не выдержать и наблюдающее Я, и в результате остаются далекие от Я фрагменты воспоминаний (Laub, Auerhahn, 1993). Могут проявиться и психогенные амнезии. Но они встречаются реже, чем предполагается в некоторых исследованиях. После 3-го года жизни дети в состоянии вспомнить травматические события, и, как правило, их описания ядра событий также являются надежными.

Результаты когнитивных исследований и нейронаук делают очевидным: хотя при травматическом опыте мы  не можем исходить из принципиально иной переработки впечатлений, чем при опыте нетравматическом, приходится, тем не менее, отметить отклонения в регистрации событий или же затрудненность нормального протекания душевных процессов.

Декодирование и вызывание из памяти травматического опыта происходит без переработки [Umschrift] и трансформации со стороны современной ситуации, как это обычно имеет место при воспоминаниях. При травматических воспоминаниях настоящее лишь в очень ограниченной степени может выполнять свою функцию герменевтической фокусировки, в которой обычно воспринимается и структурируется прошлое.

Все, что я излагал до сих пор, было напоминанием о фактах, но пока еще не описанием психической реальности травматического опыта. Психоаналитики тоже интересуются основой переживания такого опыта и стремятся осмыслить ужас, боль и страх смерти, опрокидывающие устоявшееся душевное равновесие, а также роль аффектов, операций защиты и бессознательных фантазий. В дальнейшем я хотел бы дать краткий обзор психоаналитической концепции, которая исходит, с одной стороны, из того, что травматические воспоминания в основе своей относительно точны и, сохраняясь, как правило, длительное время, могут быть вызваны посредством эксплицитно-автобиографической памяти, с другой стороны, согласно этой концепции, они не полностью исключаются из потока обычной душевной динамики и из переработки с помощью осознанных и неосознанных фантазий.

Можно исходить из того, что в травматической ситуации при чрезмерном возбуждении отключаются интегративные функции памяти, и возникает диссоциированное состояние самости, связанное с деперсонализацией и дереализацией. Впоследствии часто наступают измененные состояния сознания, либо при активизации инкапсулированного состояния самости травматические воспоминания внезапно врываются в сознание. Такие интрузии не являются чистыми повторениями или репликами произошедшего, т.к. вспышки памяти могут быть окрашены извне социальными влияниями. К тому же сегодня из психоаналитической работы с людьми, перенесшими травму, что хронические посттравматические кошмарные сновидения не только воспроизводят аффективно заряженные  воспоминания и являются визуальными повторениями травматических сцен, но также подвержены работе сновидения.

Правда, травматические состояния самости, подобные чужеродным включениям (fremdköperhaften), в значительной мере, хотя и не полностью, стабильны, т.е. не подвержены адаптации с помощью ассоциативных связей, полученных вследствие нового опыта или благодаря вытеснению. Психические трансформации травматических воспоминаний проявляются только в весьма ограниченной мере или вовсе не происходят, они обладают некоторыми особыми характеристиками. Тут я хотел бы выделить три из них, но одновременно подчеркну, что не могу позволить себе здесь никакого подробного описания феноменологии или симптоматологии травматических состояний.

1. Травматический опыт сталкивает Я со свершившимся фактом – fait accompli (Furst, 1978). Реакции Я возникают слишком поздно. Они образуются не как ответ на угрожающую опасность, но после того, как она стала реальностью, и Я было пассивно отдано ей во власть, потому что рухнули его защитные функции. Часто мы сталкиваемся с регрессией к магическому мышлению в качестве защиты от невыносимой беспомощности. Когда травмированный человек обвиняет себя в произошедшем, чувство пассивной беспомощности превращается в средство, обусловливающее собственную активность. К тому же в момент травматического события могут всплыть давно существовавшие вытесненные и угрожающие фантазии, внутренние убеждения или пугающие представления и слиться с вторгшимся травматическим материалом. Из этого позднее возникают расщепленные убеждения или маскирующие воспоминания.

2. Парализованная психическая активность травмированной самости ведет к застыванию психического чувства времени и порождает внутреннюю его остановку. Временн**а**я рамка между прошлым, настоящим и будущим, объединяющая когницию и аффекты, распадается. Часто описывается ощущение, что какая-то часть самости теряет подвижность и остается более или менее равной себе, потому что уже не в состоянии воспринимать воздействия извне. Некоторые пациенты говорят об «отстраненности» или о «существовании в тени». Другие признаются, что их внутренние часы остановились в момент травматизации.

3. В особенности при массированной травматизации абсолютная беспомощность заставляет умолкнуть внутренние объекты, выполняющие роль охраняющих спутников. Разрушается вера в непрерывное присутствие хороших объектов и возможность рассчитывать на эмпатию окружающих. Наступает катастрофическое одиночество, связанное со смертельным страхом, стыдом, ненавистью и отчаянием (Grand, 2000). Травматизирующий Другой становится затем единственным объектом, к которому в поисках помощи может обратиться самость. Тем самым он бессознательно приобретает функцию первичного объекта. В некоторых случаях в результате образуется слияние самость-объект как ядра травматического опыта, которое очень трудно снова разделить. В исследованиях травмы это состояние получило также название Стокгольмского синдрома.

**IV. Межпоколенческое воздействие тяжелой травматизации**

Крайняя травматизация превышает психические возможности травматизированных людей, которые не в силах переработать ее. Она проникает в жизнь их детей и тем самым порождает специфические конфликты поколений. Исследовать их подробнее удалось в первую очередь благодаря психоаналитическому лечению детей лиц, переживших Холокост. У родителей, которые могли защититься от массивной травматизации только с помощью замалчивания, отрицания и дереализации, дети бессознательно перенимали выстраданное, перерабатывали его признаки в своей фантазии и отыгрывали эти фантазии во внешнем мире. Такие дети живут в двух реальностях – в своей собственной и в той, которая принадлежит травматической истории их родителей. Далее я хотел бы обратиться к подобным трансгенерационным процессам идентификации. Начну с нескольких общих замечаний относительно концепции идентификации.

Родители передают свои представления ребенку как нечто само собой разумеющееся, следят, чтобы он перенял их и вел себя в соответствии с этими представлениями. Здесь следует назвать когнитивные и аффективные имаго членов семьи, ценностных представлений, принципов воспитания и картины мира. Многое из этого передается осознанно, другое – неосознанно, как, например, представления о собственном ребенке, которые у родителей неосознанны и часто восходят к истории собственной социализации. Ребенок, привязанный к своим родителям, перенимает их представления, потому что ему хочется быть таким, как его родители, или таким, каким они его хотят видеть. В этом случае мы говорим об идентификации как об одном из центральных механизмов, связывающих поколения между собой. В процессе идентификации субъект модифицирует сознательным и бессознательным образом свои мотивы и способы поведения, так же как свои саморепрезентации. Тем самым, укрепляя свою фиксацию на объекте, субъект пытается завладеть любимым объектом.

С помощью этой классической концепции идентификации можно описать очень много нормальных трансгенерационных ситуаций. В последние десятилетия, в первую очередь благодаря изучению процессов раннего развития, в психоанализ было введено понятие проективной идентификации. Оно оказалось продуктивным для понимания тяжелых душевных патологий и важно также для исследуемых здесь нами феноменов. Так обозначают процесс фантазирования, при котором нежелательные или непереносимые представления выталкиваются из собственного образа и перемещаются на объект, на другого (Gegenüber), который таким образом идентифицируется. Нежелательная часть наблюдается и контролируется затем в другом. Благодаря этому субъект чувствует облегчение, однако без этой части себя становится беднее. Объект этого процесса не может ассимилировать чуждую ему часть и переживает ее как инородное тело. Этот выталкивающий и в то же время интрузивный процесс в разной степени характеризуется агрессией и насилием.

С учетом этих концепций идентификации мне хотелось бы описать теперь некоторые особенности, встречающиеся нам в отношениях между родителями и детьми после коллективных катастроф.

1 Идентификация у ребенка происходит не с одной только личностью или свойствами отца или матери, но и с их жизненной историей, в особенности с той ее частью, которая относится ко времени до его рождения. Опираясь на психоаналитическое обследование детей лиц, переживших Холокост, Джудит Кестенберг говорит о «транспозиции», бессознательном участии в прошлом травматическом периоде жизни родителей (Kestenberg, 1989), Х. Файмберг обозначает этот тип идентификации как складывание (télescopage) трех поколений друг в друга (Faimberg, 1987).

2. Как показывает Илани Коган в анализе своих случаев (Kogan, 1995), ребенок часто полностью идентифицирует себя с одним из родителей, однако эта идентификация навязывается ему со стороны родителей, если ребенок необходим им для регулирования их критического нарциссического равновесия. Вамик Волкан и соавт. говорят в таких случаях о «депонированной репрезентации», которую родитель выталкивает в саморепрезентацию ребенка, внутренняя система репрезентации которого превращается тем самым в резервуар для нежелательных составляющих отца или матери (Volkan et al., 2002). Когда история другого проецируется на ребенка и тот идентифицирует себя с ней, в какой-то части своей самости ребенок переживает чувство отчужденности. Такие идентификации не могут быть ассимилированы в самости, они образуют инородное тело. Николя Абрахам и Мария Торок говорят об «эндокриптической идентификации» (Abraham, Torok, 1979).

3. Речь идет о бессознательной идентификации, которая порождена, однако, не работой вытеснения, а возникает непосредственно как вчувствование в бессознательное, как замалчиваемое или как объявленное умершим содержание родительского объекта. Можно назвать это тайной или «фантомом» (Abraham, 1991), угнездившимся в динамическом бессознательном ребенка. Собственные чувства и собственное поведение,                                                                                                           динамически связанные с этим фантомом, обнаруживают себя как заимствованные и относятся, собственно говоря, к родительской истории.

4. Этот тип нарциссических идентификаций характеризуется также непризнанием границ между поколениями. Размытость границ между поколениями приводит к тому, что у детей нарушается восприятие времени. Эти дети живут в двух реальностях, и прошлое смешивается у них с настоящим. Следствием этого является частичная спутанность идентификации или чувство фрагментированной идентичности. Людям, принадлежащим к этим двум поколениям, часто недостает ощущения времени собственной жизни.

**V. Травматизация детей на войне и ее последствия**

После этих замечаний о последствиях травматизации и трансгенерационных процессах идентификации, носящих скорее общий характер, мне хотелось бы теперь более подробно остановиться на специфической ситуации людей в Германии, принадлежащих ко второму поколению, в первую очередь тех, кто во время войны был ребенком. Начну с некоторых универсальных замечаний о травматизации детей.

1. Дети любого возраста в военное время вынуждены переживать события, которые они не в состоянии переработать. Их душевные защитные механизмы и психические ресурсы еще не так развиты, как у взрослых. К тому же еще не закрепились границы между внешним и внутренним. Детям нужна защита от их собственных внутренних страхов и преследующих их фантазий, подтверждение тому, что реальность не соответствует этим фантазиям. Детям нужны близкие взрослые, с которыми они связаны и которым можно доверять, чтобы чувствовать себя защищенно и уверенно. Анна Фрейд и Дороти Берлингем на примере обследования эвакуированных детей Хемпстедском яслях-приюте в Лондоне показали, что матери, которым удавалось сдержать свой страх во время бомбежек, могли дать ребенку, особенно маленькому, защиту настолько сильную, что он не получал травмы (Freud, Burlingham, 1949). Их результаты подтверждаются и другими немногочисленными исследованиями последствий войны и бомбардировок во время Второй мировой войны.

Тем не менее Вторая мировая война, бомбежки, бегство и депортации несли детям переживания, которые травматически превышали их силы. Как правило, даже мать не могла дать им защиту, прежде всего тогда, когда сама была полностью охвачена паникой и при этом душевно застывала или каменела от смертельного страха. Британские исследования показали, что психический шок от бомбежек был более глубоким и стойким, если ребенок оказывался в сопровождении охваченных паникой взрослых (Burt, 1943). Кроме того, британские исследования времен Второй мировой войны, а также более поздние – других войн (Arroyo, Eth, 1985) показывают, что эвакуация, разрушения населенных мест, беспорядок и неустроенность быта, отсутствие привычного жилья становятся важными травматическими стрессорами. Это могут со своей стороны подтвердить и современные исследования фиксации. Эвакуация детей из родительского дома, так называемая эвакуация детей в сельскую местность (Kinderlandverschickung) в Германии затронула многих детей и подростков, после того как начались бомбардировки крупных городов. Детей часто отправляли в отдаленные сельские районы, так что родители практически не имели возможности их навещать. К тому же это было нежелательно, потому что нацистское государство стремилось влиять на детей непосредственно, без вмешательства родителей. Тем самым провоцировалась слишком ранняя независимость детей и подростков, которая часто сопровождалась травмами расставания, сильнейшей тоской по дому и ощущением беспомощности.

2. Какие последствия для психики ребенка имели подобные травматизирующие военные события в послевоенное время? После войны, собственно говоря, травма не изучалась. Вообще не существовало научных концепций и методов для правильной диагностики травматизации. Сегодня мы знаем, что у детей, несколько раз переживших травматические события или находившихся в травматогенных условиях длительное время (травма второго типа), развивалось устойчивое нарушение личности. Они все больше устраняются из общения, выглядят печальными, страдают ограниченностью аффектов и диссоциативными состояниями. Их воспоминания не отличаются живостью. Чем младше ребенок, тем меньше он в состоянии психически защищаться от этих травматических воздействий. Часто внутренняя замкнутость заставляет сделать ложный вывод, будто бы ребенок не особенно затронут внешними событиями. Если ребенок 4–5 лет уже в состоянии отреагировать блокадой аффектов и когнитивным ограничением, а также сохраняет функции наблюдающего Я, то ребенку более младшего возраста угрожают превышающие его силы архаические аффекты, которые со временем все больше проявляются соматически, выливаясь в состояние тревоги, захватывающей весь организм, с паническим плачем и непрерывной болью, сопровождающимися изнеможением и сонливостью. Сон обладает функцией предохранительного клапана (Krystal, 1978). В нем появляется уход от непереносимой реальности, сопровождающийся пробуждением и – при сохранении травматической ситуации – новым неконтролируемым затоплением аффектами (Krystal, 1988). Другие психоаналитические работы исследуют взаимосвязь острых реакций и наступающих позднее стойких последствий для развития характера детей и подростков[4)](http://psyjournal.ru/psyjournal/articles/detail.php?ID=2602&sphrase_id=130646" \l "_ftn4). Были установлены долгосрочные характерологические изменения, прежде всего в тех случаях, когда рядом не оказывалось эмпатического слушателя, с которым можно было говорить о травматизирующих событиях. В период после травмы ребенок старается защитить свою психику, сохранить самость и приспособиться к травме, чтобы вооружиться против нового подавляющего страха и беспомощности. И хотя приступы страха, агрессивные действия, соматическая озабоченность и болезненное беспокойство (возбуждение) (Agiertheit) постепенно отступают благодаря такому приспособлению, депрессивные состояния остаются и продолжают действовать. Депрессия – это одно из центральных долгосрочных последствий на уровне характера. Ее не сразу можно распознать на поверхности психики, она может быть спрятана за ригидным требованием к себе в достижении успехов. Но чаще всего мы можем распознать ее по неспособности испытывать радость, удовольствие и счастье. Во многих случаях депрессия открыто проявляется только с возрастом и падением работоспособности.

**VI. Второе поколение – от межпоколенческой идентификации к идентификации поколения**

Кратко обрисованные здесь остаточные явления травматического военного детства в послевоенное время дополняются другими особенностями. Я ограничусь двумя пунктами, а именно упомянутыми выше трансгенерационными процессами идентификации, а также последствиями и функцией трансгенерационного молчания[5)](http://psyjournal.ru/psyjournal/articles/detail.php?ID=2602&sphrase_id=130646" \l "_ftn5).

1. Психоаналитическое лечение представителей второго поколения в Германии предоставило возможность многократно изучить механизмы межпоколенческой передачи влияния родителей – прямых участников или пособников войны и преступлений времени фашизма. В первую очередь, это бессознательные идентификации по типу тех, что я описал выше, через них передается история родителей и их включенность в прошлое. (Здесь я могу изложить только некоторые аспекты, характерные для условий Германии.) Потерявшие опору родители многократно использовали детей в качестве нарциссических самообъектов, чтобы сохранить уважение к себе и собственную идентичность. В своих детях такие родители находили подтверждение действенности собственных ценностных представлений, очевидным образом утративших силу после 1945 года. Так, младшим детям часто воспитанием внушали идеалы, с поверхности которых была стерта идеология национал-социализма. Жесткость, презрение к болезни и слабости, необходимость проявлять «стойкость» и иметь «характер», быть «безусловно преданным» и прочие максимы передавались зачастую вместе с телесными наказаниями. Они образовали одно из самых упорных «эмоциональных наследий» (Koch-Wagner, 2001) того времени (Bohleber, 1997). В качестве обоснования часто можно услышать, что в этом все-таки проявляется воздействие авторитарного воспитания, которое преобладало в Германии еще до нацистского режима. Но этого объяснения недостаточно. Оно не учитывает динамики между поколениями, возникшей потому, что после падения национал-социалистского режима родители лишились внутренней уверенности. Во многих случаях так и не происходило нового осмысления или глубокой рефлексии своей включенности в нацистскую идеологию, напротив, родители уверяли себя в правильности своих ценностных представлений, воспитывая детей, которые вынуждены были выступать в функции нарциссических объектов. Кроме того, у старших детей, прошедших через идеологическую обработку в Гитлерюгенд, это время оказалось связанным со счастливыми детскими воспоминаниями. У них, в свою очередь, с течением времени также возникали трудности при попытке освободиться от ценностей национал-социализма.

Другая проблема заключена в расщеплении образа родителей, и в первую очередь образа отца. Неосознанная эмоциональная фиксация представителей второго поколения на родительских репрезентациях раннего периода их инфантильного детства устояла, несмотря все разногласия с родителями относительно их вовлеченности в национал-социализм. Часто происходило расщепление этих репрезентаций на идеализированный образ отца времени инфантильного раннего детства и образ скомпрометированного отца, который действовал как все или сам был замешан в преступлениях. Ранняя детская неосознанная либидинозная фиксация на любимом авторитетном лице, которому хранят верность, во многих случаях крайне затрудняла отделение от родителей или делала его невозможным. Несмотря на то что представители второго поколения в своих самоидентификациях и сознательных установках далеко ушли от мира своих отцов, многие из них так и не смогли преодолеть расщепления отцовского образа. Положительная фиксация оставалась в подсознании, однако создавала конфликт лояльности, заставлявший уважать родительские табу, а не подвергать их сомнению. Вот так часто смешивались стремление к правде и обнаружению замалчиваемой и отрицаемой истории и протекавшие одновременно процессы защит. Выяснение отношений с поколением отцов, проходившее в обществе, нередко останавливалось на пороге собственного дома, табу которого не нарушались. Слишком болезненно и катастрофически страшно было решиться переступить его. Тем самым детское Я все время неосознанно подвергалось опасности стать сообщником родителей и их установок. Я-идеал и Сверх-Я этих представителей второго поколения постоянно были под угрозой компрометации. Неспособность задать вопрос  создавала затуманенные зоны в собственном ощущении реальности, повреждая тем самым межпоколенческое формирование идентичности.

Распознавание и проработка такой душевной констелляции были для представителей второго поколения чрезвычайно болезненными, но этот процесс во многом помогал ослабить теснейшую эмоциональную связь с собственными родителями или вовсе освободиться от нее, создать дистанцию, обретя более независимую точку зрения. Во многих случаях просвещение и реконструкция оказывались возможными только во фрагментарном виде, потому что нельзя было сломить молчание родителей, или дети слишком поздно начинали заниматься выяснением истины, или родители к тому времени уже умерли, так что раскрыть семейные тайны было уже невозможно. Николя Абрахам говорит о некоем фантоме, который может заполнить ниши семейного вспоминания и продолжить свое воздействие на бессознательном уровне (Abraham, 1978). И хотя такое положение дел не имеет особых патологических последствий, многим представителям второго поколения приходится жить в непреодолимой амбивалентности, не зная, были ли их родители втянуты в национал-социализм и его преступления и насколько глубоко. Третье поколение сейчас стремится определить свое место в этом ряду. У него свой собственный, более независимый взгляд на прошлое и на семейные проблемы. Тем не менее и в этом поколении мы встречаемся с тем же конфликтом лояльности, хотя и в ослабленной форме.

2. В 1980-е годы во многих исследованиях по второму поколению на первом плане были поступки отцов и их переработка, в меньшей степени – дети с их опытом национал-социализма и войны. Да и споры с поколением родителей об их участии в национал-социализме и войне долгое время отвлекали  внимание самих представителей второго поколения от рефлексии их собственной истории, которая не исчерпывалась идентификацией с поколением родителей. Эти истории детства долгое время оставались во многих отношениях terra incognita, скотомизация которой начинает отступать только сейчас. Дети войны, часто сами получившие травму, сначала нередко отстранялись от собственного опыта и воспоминаний или подавляли их. Стараясь не думать об этом, они часто приходили к вытеснению и отрицанию. Так, из сообщений мы узнаем, что на улицах они не видели искалеченных трупов или, по крайней мере, не помнят об этом (что им самим порой казалось странным). В интервью можно также услышать, что во время долгого пути беженцев на запад, собственно, ничего не происходило, и они ни о чем больше не могут вспомнить. Другие, наоборот, отчетливо помнят определенные события, неизгладимо врезавшиеся в память. Чтобы жить дальше, детям и молодежи приходилось многое держать в себе и «забывать». Они были не в состоянии вербализировать ядро травматического опыта, поэтому оно и не могло быть интегрировано психически. Во многих отношениях травматические последствия продолжались всю жизнь. Эпидемиологические обследования, проводимые в 2008 году, показали, что на сегодняшний день в Германии среди лиц старше 60 лет наблюдается в 2–3 раза более высокая частота посттравматических стрессовых расстройств, чем в группах более молодого возраста (Kuwert et al., 2006; Maercker et al., 2008).

С психологической точки зрения отщепление отрицательного опыта поначалу приносило облегчение, но за подобное приспособление к травме приходилось платить свою цену, как показали исследования отсроченных последствий травмы у детей. Я не могу проследить этого в деталях для популяции детей военного времени. Однако для современных исследований травмы эти результаты могут послужить объяснением того, почему потребовалось столь долгое время, прежде чем представители поколения детей войны начали говорить о пережитом ими во время войны и рассказывать свои истории. Когда они говорят об этом, то сталкиваются с опасностью превратиться в коллективном воспоминании в потерянное поколение. Будь это так, переработка катастрофической истории исчерпывалась бы выяснением поступков действующих лиц и судеб их жертв. Обычно дети не являются предметом историографии. Замалчивание своей истории детьми войны не только приводит к пробелам в их собственной идентичности, но и к тому что они повторяют в отношении следующего, третьего поколения ту политику молчания, за которую они сами так осуждали собственных родителей .

**Литература**

1. *Arroyo, W., Eth, S.* (1985): Children traumatized by central American warfare. В: Eth S., Pynoos, R. (изд.): Post-traumatic stress disorder in children. Washington D. C. (American Psychiatric Press), p. 101–120.
2. *Abraham, N.* (1991): Aufzeichnungen über das Phantom. Ergänzung zu Freuds Metapsychologie.Psyche-Zeitschrift für Psychoanalyse und ihre Anwendungen,45: 691–698.
3. *Abraham, N., Torok, M.* (1979): Kryptonymie. Das Verbarium des Wolfsmanns. Frankfurt (Ullstein).
4. *Assmann, A.* (2006): Der lange Schatten der Vergangenheit. Erinnerungskultur und Geschichtspolitik. München (C.H.Beck).
5. *Baranger, M., Baranger, W., Mom. J.* (1988): The infantile trauma fr om us to Freud: pure trauma, retroactivity and reconstruction. The International Journal of Psycho-Analysis, 69: 113–128.
6. *Bohleber, W.* (1997): Trauma, Identifizierung und historischer Kontext. Über die Notwendigkeit, die NS-Vergangenheit in den psychoanalytischen Deutungsprozeß einzubeziehen. Psyche-Zeitschrift für Psychoanalyse und ihre Anwendungen, 51: 958–995.
7. *Bohleber, W.* (2000): Die Entwicklung der Traumatheorie in der Psychoanalyse. Psyche-Zeitschrift für Psychoanalyse und ihre Anwendungen, 54: 797–839.
8. *Boll, F.* (2001): Sprechen als Last und Befreiung. Holocaust-Überlebende und politisch Verfolgte zweier Diktaturen. Ein Beitrag zur deutsch-deutschen Erinnerungskultur. Bonn (J.H.W.Dietz)
9. *Burt, C.* (1943): War neuroses in British children. Цит. по: Eth, S., Pynoos, R. (Hg.): Post-traumatic stress disorder in children. Washington D. C. 1985 (American Psychiatric Press).
10. *Cooper, A.* (1986): Toward a lim ited definition of psychic trauma. In: Rothstein, A. (изд.): The reconstruction of trauma. Ist significance in clinical work. Madison (Int. Univ. Press), S. 41–56.
11. *Davoine, F., Gaudillière, J.-M.* (2004): History beyond trauma. New York (Other Press).
12. *Faimberg, H.* (1987): Die Ineinanderrückung (Telescoping) der Generationen. Jahrbuch der Psychoanalyse, 20: 114–142.
13. *Freud, A., Burlingham, D.* (1949): Kriegskinder. In: Freud, A., Burlingham, D.: Heimatlose Kinder. Zur Anwendung psychoanalytischen Wissens auf die Kindererziehung. Frankfurt 1971 (Fischer), S. 3–61.
14. *Freud, S.* (1895d): Studien über Hysterie. GW I, 75–312.
15. *Honig, R., Grace, M., Lindy, J., Newman, J., Titchener, J.* (1999): Assessing the long-term effects of disasters occurring during childhood and adolescence: questions of perspective and methodology. In: Sugar M. (1999): Trauma and adolescence. Madison (Int. Universities Press), p. 203–224.
16. *Kestenberg, J.* (1989): Neue Gedanken zur Transposition, Klinische, therapeutische und entwicklungsbedingte Betrachtungen. Jahrbuch der Psychoanalyse, 24: 163–189.
17. *Kihlstrom, J.* (2006): Trauma and memory revisited. In: B.Uttl; N.Ohta; A. Siegenthaler (Eds.): Memory and emotions: interdisciplinary perspectives. New York (Blackwell)
18. *Koch-Wagner, G.* (2001): Gefühlserbschaften aus Kriegs- und Nazizeit. Aachen (Shaker).
19. *Kogan, I.* (1995): Der stumme Schrei der Kinder. Die zweite Generation der Holocaust-Opfer. Frankfurt 1998 (Fischer).
20. *Krystal, H.* (1978): Trauma and affects. The Psychoanalytic Study of the Child, 33: 81–116.
21. *Krystal, H.* (1988): Integration and self-healing. Affect, trauma, alexithymia. Hillsdale (Analytic Press).
22. *Kuwert, P., Spitzer, C., Träder, A., Freyberger, H., Ermann, M.* (2006): Sixty years later: post-traumatic stress symptoms and current psychopathology in former children of World War II. *International Psychogeriatrics*, p. 1–7.
23. *Laplanche, J.* (1970): Leben und Tod in der Psychoanalyse. Olten und Freiburg (Walter) 1974.
24. *Laub, D., Auerhahn, N.* (1993): Knowing and not knowing massive psychic trauma: forms of traumatic memory. The International Journal of Psycho-Analysis, 74: 287–302.
25. *Loftus, E. u. Ketcham, K.*(1994): Die therapierte Erinnerung. Vom Mythos der Verdrängung bei Anklagen wegen sexuellen Missbrauchs. Hamburg (Ingrid Klein Verlag) 1995.
26. *McNally, R.*(2003): Remembering trauma. Cambridge (MA) (Harvard Univ.Press)
27. *Maercker, A., Forstmeier, S., Wagner, B., Glaesmer, H., Brähler, E.* (2008): Posttraumatische Belastungsstörungen in Deutschland. Ergebnisse einer gesamtdeutschen epidemiologischen Untersuchung. *Nervenarzt*, vol. 79, 577–586.
28. *Radebold, H.* (2000): Abwesende Väter. Folgen der Kriegskindheit in Psychoanalysen. Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht).
29. *Radebold, H.* (2010): Abwesende Väter und Kriegskindheit. Alte Verletzungen bewältigen. Stuttgart (Klett-Cotta).
30. *Schacter, D.* (1996): Wir sind Erinnerung. Gedächtnis und Persönlichkeit. Reinbek (Rowohlt) 1999.
31. *Schacter, D.*(2001): Aussetzer. Wie wir vergessen und uns erinnern. Bergisch Gladbach (Gustav Lübbe) 2005.
32. *Siegel, D.* (2006): Entwicklungspsychologische, interpersonelle und neurobiologische Dimensionen des Gedächtnisses. Ein Überblick. In: H. Welzer & H. Markowitsch (Hg.), Warum Menschen sich erinnern können. Fortschritte in der interdisziplinären Gedächtnisforschung. Stuttgart: Klett-Cotta, 19–49.
33. *Van der Kolk, B., McFarlane, A. & Weisaeth, L.* (Hg.) (1996): Traumatic Stress. The effects of overwhelming experience on mind, body, and society. New York (Guilford Press).
34. *Volbert, R.* (2004): Beurteilung von Aussagen über Traumata. Erinnerung und ihre psychologische Bewertung. Bern (Huber).
35. *Volkan, V., Ast, G., Greer, W.* (2002): The Third Reich in the unconscious. Transgenerational transmission and its consequences. New York (Brunner-Routledge).
36. *Welzer, H.* (Hg.) (2007): Der Krieg der Erinnerung. Holocaust, Kollaboration und Widerstand im europäischen Gedächtnis. Frankfurt (Fischer).
37. *Welzer, H.; Moeller, S.; Tschuggnall, K.* (2002): „Opa war kein Nazi“. Nationalsozialismus und Holocaust im Familiengedächtnis. Frankfurt (Fischer).
38. *Welzer, H. & Markowitsch, H.* (2006): Reichweiten und Grenzen interdisziplinärer Gedächtnisforschung. In: *Welzer, H. & Markowitsch, H.* (2006) Warum Menschen sich erinnern können. Fortschritte in der interdisziplinären Gedächtnisforschung. Stuttgart: Klett-Cotta, S. 7–15.

**Примечания**

[1)](http://psyjournal.ru/psyjournal/articles/detail.php?ID=2602&sphrase_id=130646" \l "_ftnref1) Я разделяю узко сформулированную дефиницию травмы. Травму часто определяют весьма свободно, и потом под нее подпадают разные формы патологического опыта. Я присоединяюсь к определению Арнольда Купера: «Психическая травма – это событие, которое резко разрушает способность Я обеспечить чувство минимальной безопасности и полноты интеграции и ведет к непереносимому страху или беспомощности или ее угрозе и вызывает длительное изменение психической организации» (Cooper, 1986, S. 44). Подробнее см.: Bohleber, 2000.

[2)](http://psyjournal.ru/psyjournal/articles/detail.php?ID=2602&sphrase_id=130646" \l "_ftnref2) Факт, у которого нет разумного объяснения, интерпретации (лат.). – *Прим. пер.*

[3)](http://psyjournal.ru/psyjournal/articles/detail.php?ID=2602&sphrase_id=130646" \l "_ftnref3) В дальнейшем я опираюсь на работы: Kihlstrom (2006), McNally (2003), Schacter (1996; 2001) и прежде всего на Volbert (2004), выводы которой я излагаю здесь конспективно.

[4)](http://psyjournal.ru/psyjournal/articles/detail.php?ID=2602&sphrase_id=130646" \l "_ftnref4) Здесь я ссылаюсь на американские исследования катастроф Honig et al., 1999.

[5)](http://psyjournal.ru/psyjournal/articles/detail.php?ID=2602&sphrase_id=130646" \l "_ftnref5) Дальнейшие последствия и душевные повреждения описывает Radebold (2000; 2010)